

## Коммунистические теоретики о фашизме (1921-1935): озарения и просчеты\*

Идеологическая и политическая борьба коммунистов с итальянским фашизмом и национал-социализмом — одна из наиболее чреватых последствиями страниц новейшей истории Европы — носила в высшей степени двойственный характер. С одной стороны, значительные успехи в теоретическом анализе, нередко превосхищавшие современные исследования по истории фашизма, с другой, серьезные ошибки, имевшие самые тяжелые последствия. Достижения коммунистов в разработке теорий фашизма (прежде всего в 1921—1928 гг.) до сих пор не оценены по достоинству. В предлагаемой работе ставится задача показать, что недооценка вклада коммунистических теоретиков в анализ правоэкстремистских массовых движений ничем не оправдана. Под правоэкстремистскими массовыми движениями мы понимаем в конечном счёте итальянский фашизм и немецкий национал-социализм. Обозначив таким образом два наиболее крупных движения справа, мы отделяем их от других группировок и сил, которые как коммунистическими, так и другими теоретиками определяются в качестве «фашистских».

Изучение коммунистических теорий фашизма показывает, как коммунистические идеологи пытались оценить и объяснить совершенно новые политические явления, какие идеологические препятствия они при этом должны были преодолевать, дает представление о самих авторах этого анализа, о своеобразии и структурах коммунистического мышления и мировоззренческом понимании ими самих себя.

### Часть I. Изучение вопроса в современной историографии

Сразу после второй мировой войны, когда проблема конфронтации коммунизма с фашизмом и национал-социализмом утратила свою политическую остроту и превратилась в объект исторического анализа, западные историки на первый план ставили разительное сходство политических структур всех трех движений и режимов, их методов пропаганды, борьбы и приемов подавления. На этих аналогиях основывалась теория тоталитаризма, преобладавшая в западных исследованиях практически до середины 50-х годов. Однако теория тоталитаризма была все

---

\* Отрывки из моей книги *Возникновение коммунистической теории фашизма. Споры о фашизме и национал-социализме в Коминтерне. 1921-1935* (Luks Leonid. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Nationalsozialismus. 1921-1935. Stuttgart, 1985).

же не в состоянии дать ответ на вопрос: почему, несмотря на такое сходство, конфликт между правым экстремизмом и коммунизмом относится к наиболее острым противоречиям новейшей европейской истории. Тот факт, что между коммунизмом и правым экстремизмом существовала непреодолимая пропасть, которая заведомо обрекала их на борьбу друг с другом вплоть до полного уничтожения одного из противников, ускользал из поля зрения сторонников теории тоталитаризма. Они недооценивали также и то, что коммунизм был укоренен в политической и идеологической традиции, прямо противоположной правому экстремизму, что большевистский режим в России выполнял совершенно другие социальные функции и опирался на совершенно иной базис, нежели фашизм или национал-социализм.

Исследования фашизма с начала 60-х годов в западной историографии пережили настоящий ренессанс. Больше внимания стали уделять идеологическому и социальному антагонизму между коммунизмом и правым экстремизмом. Посредством анализа самоистолкования фашистского и национал-социалистического движений, выявления идеологических и социальных функций обоих движений исследователям удалось углубить понимание своеобразия и правого экстремизма, поставившей его в ситуацию непримиримого противоречия со всеми другими политическими группировками тогдашней Европы, и не в последнюю очередь с коммунизмом. Заслуга современных западных исследований не только в том, что они отметили уникальность социально-идеологических структур фашизма, но и в том, что в них поставлен вопрос: как феномен «фашизма» рассматривался в прошлом разными политическими группировками. Поскольку поразительные успехи фашистов и национал-социалистов в период между двумя мировыми войнами не в последнюю очередь были обусловлены ошибочными оценками этих движений как их противниками, так и союзниками, вопрос о причинах такого рода ошибок оказался и в самом деле в высшей степени интересным. Когда западные исследователи выяснили, что коммунизм и фашизм отнюдь не были родственны в такой степени, как предполагали сторонники теории тоталитаризма, возник интерес к изучению коммунистической теории фашизма. Стало очевидно, что анализ фашизма коммунистами отнюдь не всегда имел чисто пропагандистский характер, а по некоторым вопросам содержал существенный вклад в понимание феномена фашизма.

К числу западных исследователей феномена фашизма, занимавшихся также изучением коммунистической теории фашизма, относятся в первую очередь Эрнст Нольте, Вольфганг Шидер, Ренцо де Феличе и А. Джеймс Грегор. Каждый из них, рассматривая разные теории фашизма, давал краткий обзор развития коммунистической теории фашизма, начиная с похода Муссолини на Рим и вплоть до второй мировой войны. Однако за некоторыми исключениями, их работы представляют собой краткие очерки, не учитывающие многие важные аспекты коммунистической теории фашизма. Как правило, авторы — специалисты по фашизму, а не по истории Коминтерна, большевизма или новейшей истории Рос-

сии, и потому они весьма односторонне освещают возникновение и развитие коммунистической теории фашизма. В этих трудах высказывания коммунистических теоретиков исследуются прежде всего с точки зрения их вклада в понимание самого феномена фашизма. Историко-политический и идеологический фон, на котором развивались коммунистические теории фашизма, упоминается этими исследователями лишь вскользь. Также обстоит дело и с диссертацией Барбары Тиммерманн «Дискуссия о фашизме в Коммунистическом Интернационале» (1977). Здесь, правда, более подробно рассматривается коммунистический анализ фашизма, но, однако, не учитывается внутрибольшевистская основа дискуссии о фашизме в Коминтерне, хотя без освещения этой основы сама дискуссия, как справедливо отметил В. Шидер, едва ли может быть успешной. Сложные процессы, приведшие к некоторым поворотам в коминтерновской дискуссии о фашизме, в этой книге объяснены неполно. Недостаточное внимание к внутрибольшевистским спорам, тесно связанным с дискуссией о фашизме в Коминтерне, приводит ее к некоторым ошибочным интерпретациям. Например, при анализе так называемого «левого» поворота в коминтерновской дискуссии о фашизме после поражений компартии Германии в октябре 1923 г. (ниже мы остановимся на этом более подробно). Одна из задач данной работы — исследование взаимосвязи между внутренними процессами развития большевизма и развитием коммунистической теории фашизма. Такой подход необходим прежде всего из-за огромного влияния большевистской партии на Коминтерн.

Вызывает возражение также общая оценка вклада коммунистов в анализ фашизма в период с 1921 по 1928 г. (до поглощения Коминтерна сталинской фракцией). Вообще большинство авторов отдают должное реализму оценок и остроте видения, присущим коммунистической теории фашизма в период с 1922 по 1923 г., т. е. первой реакции идеологов коммунизма на подъем итальянского фашизма и германского национал-социализма. Тенденция называть почти все некоммунистические группы и силы «фашистскими», появившаяся в Коминтерне в конце 1923 г., расценивается этими авторами как окончательный отход Коминтерна от дифференцированной позиции по отношению к фашизму. Тот факт, что Коминтерн в 1925 г. в значительной степени освободился от этой тенденции, а в период с 1926 по 1928 гг. вновь достиг внушительных успехов в анализе фашизма, для большинства историков остается незамеченным. В своем изложении коммунистической дискуссии о фашизме Барбара Тиммерманн ограничивается по сути дела анализом фашизма на конгрессах и конференциях Коминтерна и ИККИ (Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала), а так как в период с 1925 по 1928 г. (до VI конгресса Коминтерна) на конференциях ИККИ проблема фашизма обсуждалась лишь как второстепенная, то Б. Тиммерманн считает дискуссию о фашизме в Коминтерне в этот период неплодотворной. Автор не обнаруживает в этой дискуссии ничего нового. Она утверждает, что для большинства функционеров Коминтерна «фашизм» стал нечленораздельным боевым кличем, который мог иметь какое угодно содержание. То новое, что нес в себе

феномен фашизма, в Коминтерне якобы упустили из виду. Это утверждение Б. Тиммерман относит к тому моменту, когда дебаты о фашизме в рамках Коминтерна достигли своего нового апогея. Но так как эти споры, как правило, имели место не на пленарных заседаниях ИККИ, они полностью выпали из поля зрения автора. К собственному изумлению она затем констатирует, что доклад Тольятти на VI конгрессе Коминтерна (август 1928 г.), в противоположность коммунистическим оценкам фашизма после 1923 г., содержит весьма дифференцированный анализ. Однако тщательное изучение прессы Коминтерна и работ авторов-коммунистов в период с 1926 по 1928 г. свидетельствует о том, что тезисы Тольятти не содержали ничего удивительного. Они были составной частью интенсивных дискуссий о фашизме, проходивших в то время в Коминтерне.

Такие же ошибки в оценке анализа фашизма коммунистами во второй половине 20-х годов содержатся и в книге Карла-Эгона Лённе, посвященной дискуссии в органе КПГ «Роте Фане» и в органе немецких социал-демократов «Форвертс» об итальянском фашизме в период с 1920 по 1933 г. В первой части книги Лённе на основании публикаций о фашизме в «Роте Фане» пытается проследить разработку теории фашизма Коминтерном, но его источниковедческая база слишком узка для того, чтобы проследить достаточно полно разные периоды в развитии дискуссии о фашизме среди коммунистов. Он, например, усматривает прямую связь между резолюцией о фашизме V конгресса Коминтерна (1924 г.), в которой говорится о фашистском характере социал-демократии, и разработанной в 1928—1929 гг. теорией «социал-фашизма». То, что на самом деле Коминтерн пришел к этой теории в 1928 г. лишь после многих «блужданий» и идейных поворотов, ускользает из поля зрения Лённе. Правда, он замечает, что «Роте Фане» в период с 1924 по 1927 г. довольно редко проявляет склонность к обобщению понятия «фашизм», но не видит другого: эта тенденция была следствием изменения общей тактики Коминтерна в существенно более реалистическом направлении. Многие историки проходят мимо значительных успехов в коммунистической дискуссии о фашизме с 1926 по 1928 г. Таким образом, самая неплодотворная фаза дискуссии о фашизме в Коминтерне (с 1929 по 1933 г.) со всеми ее тяжелыми последствиями отбрасывает тень и на предшествующий период.

В центре внимания нашего исследования стоит вопрос о причинах ошибочной оценки национал-социализма руководством Коминтерна. На этот вопрос до сих пор нет удовлетворительного ответа. Тот факт, что Сталин не позволил пересмотреть возникшую в 1928—1929 гг. теорию «социал-фашизма», несмотря на постоянно возрастающую начиная с 1930 г. опасность национал-социализма, некоторые авторы объясняют чрезвычайно возросшей потребностью Советского Союза в безопасности, ибо в тот момент в результате коллективизации страна была крайне ослаблена. Ввиду этого Сталин якобы стремился любой ценой предотвратить сближение Германии с Западом. Прозападную и антисоветскую СДПГ он поэтому рассматривал как большую опасность по сравнению антизападно настроенной НСДАП. Этот тезис выдвигается прежде всего Свенном Ал-

лардом, Робертом С. Такером и Карлом-Хайнцем Никлаусом. Согласно Такеру, Сталин даже включал в свои расчеты возможность войны между будущей национал-социалистической Германией и западными державами. Он надеялся, что это ослабит «империалистический» лагерь, но одновременно рассчитывал на укрепление советской военной мощи в результате индустриализации. В итоге Сталин хотел использовать эту войну для советской экспансии в Европу. Свен Аллард тоже считает, что Сталин уже к началу 30-х годов разработал план установления своего господства в Европе с помощью Красной Армии. Но это означало бы, как справедливо замечает Тедди Дж. Алдрикс в своей полемике с Робертом С. Такером, что Сталин уже за полтора десятка лет предвидел и планировал ситуацию, которая возникла лишь после Второй мировой войны (после столь многих исторических поворотов!— «Л.Л.), что маловероятно. К этому можно добавить, что ко времени взлета НСДАП в Веймарской республике правили не ненавистные Сталину прозападные демократические партии, а консервативный президентский кабинет. А так как Сталин рассматривал консервативные группировки, стоящие за спиной президентского режима, как в общем-то просоветские, то едва ли уместно предполагать, что он желал смены этих сил непредсказуемой НСДАП. Столь же мало убедительной, как и объяснения Алларда и Такера по поводу сталинской политики в отношении Германии к началу 30-х годов, является концепция Георга фон Рауха. Он выдвигает тезис, согласно которому Сталин навязал КПГ самоубийственную тактику, так как боялся победы революции и в Германии. Центр коммунистического движения в этом случае автоматически переместился бы в промышленно более развитую Германию; эта перспектива якобы вызывала у Сталина панику (Раух опирается при этом на высказывания Маргарет Бубер-Нойман). Однако это объяснение мало что проясняет. Едва ли можно найти хотя бы намеки на то, что Сталин к началу 30-х годов рассматривал как реальную возможность победы революции в Германии. Скептическое отношение Сталина к перспективам на успех немецких коммунистов ко времени окончательного кризиса Веймарской республики у большинства историков не вызывает сомнения.

Тезис о том, что Сталин хотел облегчить Гитлеру захват власти, едва ли можно доказать. Гораздо более точным кажется тезис Франца Боркенау: Сталин не сделал ничего, чтобы предотвратить захват власти Гитлером, но он не сделал ничего и для того, чтобы его обеспечить. Данный вывод Боркенау по существу подтверждает Томас Вайнгартнер в своей солидно документированной работе. Но и Вайнгартнер преувеличивает значение внешнеполитических факторов в тогдашней политике Сталина, когда он, например, указывает на чрезвычайную потребность Советского Союза в безопасности к началу 30-х годов. В действительности эта потребность в безопасности, равно как и страх перед нападением «капиталистических» держав вовсе не была до такой степени присуща тогдашнему советскому руководству, как это считают многие исследователи. Манфред фон Бёттихер в своей недавно опубликованной работе о советской концепции безопасно-



сти конца 20-х — начала 30-х годов доказывает, что советское руководство не ожидало тогда в скором будущем войны. Попытки объяснить политику Коминтерна и Советского Союза в начале 30-х годов внешнеполитическими факторами содержат столько противоречий, что нужна новая модель объяснения, чтобы дополнить, а то и заменить предыдущую. К примеру, зависимость между тогдашней советской внутренней политикой и политикой Коминтерна, на которую справедливо указывают Франц Боркенау, Зигфрид Бане, Дитрих Гейер и Хорст Дунке должна учитываться при анализе дискуссии о фашизме в Коминтерне к началу 30-х годов гораздо больше, чем до сих пор. Независимо от этого при поиске причин в равной мере удивительных и чреватых последствиями ошибок сталинского анализа фашизма следует уделять больше внимания специфическому характеру сталинской идеологии и сталинского мышления. В данном исследовании эти вопросы будут рассмотрены.

В заключение следует упомянуть некоторые работы марксистских авторов по теории фашизма, которые опубликованы в последние годы. К числу наиболее интересных несомненно относится книга Нико Пуланзаса «Фашизм и диктатура», в которой анализ фашизма Коминтерном подвергнут острой критике с неомарксистской точки зрения. Пуланзас справедливо критикует широко представленный в Коминтерне тезис о том, что фашизм явился ответом буржуазии на революционное наступление пролетариата. Пуланзас отмечает, что подъем итальянского фашизма и национал-социализма начался лишь тогда, когда рабочее движение в обеих странах было уже разгромлено, об актуальности революционной ситуации в тот момент не могло быть и речи. Пуланзас решительно отвергает также и тезис о подъеме фашизма вследствие равновесия сил между «буржуазным» и «пролетарским» лагерем, выдвигавшийся Грамши и Тальгеймером. «Пролетарский» лагерь в момент подъема правого экстремизма значительно уступал «буржуазному» как в Италии, так и в Германии. Но в некоторых пунктах критика Пуланзаса не столь обоснована. Например, когда он говорит, что Коминтерн никогда не понимал специфический характер фашизма. Здесь он путает взгляды некоторых левых коммунистов, например, Амадео Бордиги, а также сталинистов, со взглядами Коминтерна в целом. В период с 1921 по 1928 г. такие авторы-коммунисты, как Радек, Аквила, Грамши, Тольятти и другие неоднократно указывали на своеобразный характер фашизма. Пуланзас не видит также, как сильно отличается реакция Коминтерна на победу итальянского фашизма и национал-социализма. Масштаб поражения, пережитого рабочими партиями Италии, был довольно быстро осознан и признан многими идеологами Коминтерна. После поражения в Германии сталинистскому Коминтерну потребовалось почти два года для подобного осознания. Эти критические замечания не должны, однако, снижать значение книги Пуланзаса. Ей хотя и присуща некоторая идеологическая односторонность, но в то же время она ставит многие интересные вопросы, в том числе о глубинных причинах «левого» и «правого» поворота Коминтерна, о специфической природе сталинизма, которые нуждаются в рассмотрении.

Совсем иной характер носит работа историка из ГДР Эльфриды Леверенц. Своим самоуверенным и морализирующим тоном, своим догматическим анализом она почти без изменений продолжает традиции сталинской историографии. Как, «прогресс» в развитии теории фашизма Коминтерном она рассматривает постепенное освобождение от концепции «мелкобуржуазного» и самостоятельного характера фашизма, т. е. «освобождение» от наиболее оригинальных интерпретаций, выдвинутых теоретиками Коминтерна. Сталинская теория агентуры характеризующая фашизм как инструмент финансового капитала, для Эльфриды Леверенц до сих пор остается непревзойденным разъяснением сущности фашизма. Не удивительно, что подобные тезисы «советских историков-марксистов» встречают в западной историографии резкий отпор. При этом, как правило, историография ГДР приравнивалась к «советско-марксистской», или рассматривалась как типичная для «советско-марксистской» историографии. В других странах восточного блока — в Польше, в Венгрии и даже в Советском Союзе — начиная с середины 60-х годов появилась однако целая серия работ, в которых проблема фашизма интерпретируется гораздо более дифференцированно и оригинально, чем в сочинениях историков ГДР. Но этот факт либо не замечался в западной историографии, либо упоминался вскользь. Если принять во внимание, насколько сильными были удары, нанесенные сталинизмом исследованию фашизма коммунистами, станет очевидно, что постепенное освобождение от сталинских извращений заслуживает особого имени. Так, например, некоторые советские и польские авторы, а также и венгерский историк Михай Вайда, в противовес большинству своих коллег из ГДР, выступили сторонниками тезиса о частичной независимости правоэкстремистских режимов от «крупного капитала». Тем самым они брали на вооружение отдельные постулаты выдвинутой Августом Тальгеймером теории «бонапартизма», целиком отвергнутой историками ГДР. Тезис о том, что фашистские режимы являлись простым инструментом «монополистического капитала», отвергались Борисом Лопуховым, Александром Галкиным, Ежим Борейшей, Вайдой и другими авторами. Они обращали внимание на то, что и фашистское правительство в Италии, и национал-социалистическое руководство во многих случаях навязывало свою волю «капиталистам». Горячо любимое Эльфридой Леверенц сталинистское определение фашизма как «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, шовинистических и империалистических элементов финансового капитала» решительно отвергается Михаем Вайдой, ибо в нем не содержится конкретного классового анализа фашизма. И еще один тезис широко распространенный в догматической коммунистической историографии, отвергается Вайдой. Речь идет о распространении понятия фашизм на консервативные и авторитарные режимы в Восточной и Южной Европе, возникшие в период между двумя мировыми войнами. Согласно Вайде, режим Хорти принципиально отличался от правоэкстремистских диктатур в Италии и в Германии. Подавление оппозиции в Венгрии отнюдь не имело столь тотального характера, как в Италии или в Германии,

социал-демократическая партия и профсоюзы в Венгрии не были запрещены. Сходные тезисы выдвигали польские историки Франтишек Рышка и Ежи Борейша в отношении режима Пилсудского в Польше, отвергая определение «фашистский» применительно к этому режиму. Поскольку различия между догматической историографией ГДР и историографией в других странах Восточного блока на Западе, как правило, не замечали, нам придется более подробно излагать данные тенденции в изучении фашизма коммунистами, некоторые параллели между этими тенденциями и анализом фашизма в Коминтерне. Несмотря на постепенное освобождение восточноевропейских исследований от сталинского схематизма и догматизма, ни один из упомянутых советских, венгерских или польских историков не осмелился — по вполне понятным причинам — дать систематический анализ теории фашизма в Коминтерне. Единственное исключение — советский историк Борис Лопухов, который в своей книге «Фашизм и рабочее движение в Италии», опубликованной в 1968г., дает краткий очерк развития советской теории фашизма. Однако этот очерк не может заменить систематический анализ коминтерновской теории фашизма.

Подчинение Коминтерна Сталину и склонность последнего к упрощению реального положения дел и схематическому мышлению крайне затруднили борьбу Коминтерна против правого экстремизма. Из-за победы сталинской фракции в Коминтерне значительные препятствия возникли и на пути теоретического осмысления правозэкстремистских противников. Но тут следует заметить, что еще до того, как Сталин начал играть решающую роль в Коминтерне, руководство Коминтерна допустило теоретические и тактические ошибки в своей полемике с правозэкстремистскими движениями, за которые было наказано тяжелыми поражениями как в Италии (1921—1922), так и в Германии (1923). Сталинизация Коминтерна явилась, таким образом, лишь одной из причин поражения коммунистов. В большевистской и коммунистической идеологии, в исторической и политической традиции большевиков, равно как и в большевистской ментальности были моменты, которые зачастую затрудняли точную оценку нового противника справа и разработку эффективной тактики борьбы с ним.

Чтобы понять, почему большевистским и коммунистическим теоретикам зачастую с таким трудом давалось понимание социально-идеологической специфики и собственной внутренней динамики правозэкстремистских массовых движений, необходимо сравнить идеологическо-психологическое и социально-политическое своеобразие большевизма с аналогичным своеобразием фашизма и национал-социализма. В западных исследованиях по фашизму такой сравнительный метод используется довольно редко. Одним из редких исключений является в этом смысле Томас Вайнгартнер. В своей книге «Сталин и приход к власти Гитлера» Вайнгартнер указывает на то, как трудно было большевикам, привыкшим мыслить в марксистских категориях, понять расистско-биологический образ мысли национал-социалистов. Но Вайнгартнер упоминает только одну из многих специфических черт большевизма, лежавших в основе теоретических и тактиче-



ских ошибок большевиков в их конфронтации с правым экстремизмом. Всесторонний анализ социально-политического и идеологического своеобразия большевизма и сопоставление этого своеобразия со своеобразием правоэкстремистских массовых движений требуют обращения к научным результатам как исследований фашизма, так и, с другой стороны, большевизма и коммунизма. Однако до сих пор эти две линии исторических исследований развивались относительно независимо друг от друга. Специалисты по фашизму, занимавшиеся изучением коммунистической теории фашизма, довольно редко учитывают результаты исследований большевизма. С другой стороны, такие историки, как Эдвард Хэллет Карр, Бертрам Вульф, Джордж Ф. Кеннан, Абдурахман Авторханов, Стивен Кэн, Леонардо Шапиро и другие, подробно изучающие новейшую русскую, советскую и коммунистическую историю, почти не занимаются, или занимаются лишь побочно, коммунистическим анализом фашизма. Одним из немногих исключений в этом отношении является Исаак Дойчер, посвятивший целую главу анализу фашизма Троцким в третьем томе своей биографии Троцкого. Установление взаимосвязи между исследованием фашизма и большевизма совершенно необходимо, для того чтобы глубоко разобраться в коммунистической теории фашизма.

Большевики в идеологическом и национальном отношении были укоренены в совершенно иной традиции, нежели итальянские фашисты или национал-социалисты, что не могло не оказать существенного влияния на оценку этих движений коммунистическими теоретиками. Линия развития европейской культуры, к которой примыкали большевики, включала в себя Просвещение, Великую французскую революцию и социалистические и позитивистско-материалистические идейные течения XIX века. Фашизм и, прежде всего, национал-социализм, представлял противоположную идейно-политическую традицию, и это обстоятельство чрезвычайно затрудняло большевикам понимание мотивов мышления и действий правых экстремистов. Совершенно чуждыми и непонятными были для большевиков и коммунистов, к примеру, идеализация биологических законов правыми экстремистами и их попытки перенести на человеческое общество право сильного, царящее в природе. Большевики, несмотря на то, что они создали беспрецедентный режим подавления, рассматривали себя, тем не менее, как защитников слабых и угнетенных. Придя к власти, они по-прежнему идентифицировали себя со многими идеалами революционной русской интеллигенции, хотя большинство представителей этой интеллигенции после Октябрьской революции выступило против большевиков и подвергалось преследованиям с их стороны. Ни марксистской традиции, ни русской интеллигенции не было свойственно восхваление законов природы, из-за чего коммунистическим теоретикам с трудом удавалось понимание мотивов правых экстремистов, провозглашавших власть «сильных» над «слабыми».

Сначала большевики охарактеризовали правоэкстремистские идеи как идейное наследие отмирающего слоя, стремящегося затормозить «прогресс». Но то

обстоятельство, что эти «антипрогрессивные» идеи обладали огромной привлекательностью для итальянских и немецких масс, вынудило большевиков более внимательно заняться идейным наследием правого экстремизма. Однако, безоглядная вера большевиков и коммунистов в линейный прогресс была существенным препятствием на пути анализа правозэкстремистской идеологии. Другим обстоятельством, затруднявшим большевикам анализ правозэкстремистских массовых движений, а также многих других тенденций развития в Западной и Средней Европе, была их склонность придавать универсальное значение процессам, начатым в России в ходе Октябрьской революции. «Капиталистическая система» рассматривалась как нечто единое, и прорыв этой системы в ее «слабом звене», т. е. в России, якобы открыл новую эру в истории человечества. Советская система провозглашалась новой социально-политической моделью для всего мира. Выдвигая эту глобальную, рационалистическую претензию, большевики не замечали национальных особенностей других народов. Преобладание большевистской партии в Коминтерне привело к определенной «русификации» мышления нерусских коммунистов. Большинство западных коммунистов приняло тезис большевиков о том, что события в России являются образцом для всего остального мира. На возникавшую время от времени критику этого тезиса со стороны не-русских членов Коминтерна большевистские вожди реагировали очень болезненно, ибо это создавало угрозу самому ядру их мировоззрения. Западным коммунистам удалось лишь в незначительной мере скорректировать интерпретацию многих событий на Западе их русскими товарищами. Большевистский анализ правого экстремизма должен был, по сути, пройти через два преломления: преодолеть марксистскую догматику и национальное своеобразие большевиков. Если об этом подумать, то многие удивительно точные и глубокие тезисы коммунистических теоретиков о характере правозэкстремистских массовых движений покажутся еще более заслуживающими внимания.

И еще одно дополнительное замечание. Итальянский фашизм и немецкий национал-социализм в своем политическом характере имели как родственные, так и крайне различные черты. Это обстоятельство не могло не повлиять на полемику коммунистов с этими движениями. Правда результаты конфронтации коммунистов с правозэкстремистскими противниками оказались похожими — как в Италии, так и в Германии Коминтерн был наголову разбит. Однако манера ведения полемики» а также реакция на поражение в том и другом случае со стороны Коминтерна были разными. Вскрытие причин данных различий может иметь важное значение не только для изучения коммунистической теории фашизма, но и для исследования фашизма в целом. Это поможет обогатить анализ отличий в характере обоих правозэкстремистских движений дополнительными аспектами. Такого рода сравнительный метод редко применялся в существующих на Западе исследованиях при анализе коммунистической теории фашизма.

## Часть II. Идеологические, политические и психологические причины ошибок в оценках правозэкстремистских массовых движения в рамках коммунистической теории фашизма

### Опыт войны

Как большевики, так и правозэкстремистские массовые движения обязаны, как известно, своими быстрыми успехами первой мировой войне. И большевики, и правые экстремисты понимали, как сильно война облегчила их победу. Ленин назвал эту войну «величайшим режиссером мировой истории», Муссолини и Гитлер только благодаря опыту войны осознали свою «миссию». Несмотря на это единодушное признание значения мировой войны для достижения собственных целей, опыт войны имел для большевиков, с одной стороны, и для правых экстремистов — с другой, принципиально разное значение. Правые экстремисты добились успеха прежде всего потому, что они безоговорочно поддерживали мировую войну и изображали военный опыт как самое ценное благо. Большевики, наоборот, были обязаны своим триумфом тому, что с беспрецедентной остротой заклеямили эту войну. Тот факт, что Парижская Коммуна возникла после поражения французской армии, убедил Ленина в том, что революционная партия во время «империалистической» войны должна работать на поражение собственного правительства. То, что февральская революция разразилась в результате ослабления русской монархии в ходе войны, Ленин воспринял как доказательство правоты своей тактики. «Революционное поражение» должно было, как считал Ленин, и в других воюющих странах привести к ускорению свержения собственных правительств. Россия как «самое слабое звено в империалистической цепи», оказалась первой страной, вступившей на путь развития, на который в недалеком будущем должны вступить и другие воюющие страны. Обобщая таким образом тактику, которая и в самом деле была очень успешной в России, Ленин не признавал принципиально разного значения, которое мировая война имела для России, с одной стороны, и для западных стран — с другой. (Эту ошибочную оценку Ленина взяли на вооружение и другие большевистские руководители.)

В России мировая война вызвала усиление центробежных, тенденций и углубление социальных конфликтов, так как династия Романовых не сумела разработать популярную идеологию, способную объединить все народы и сословия империи. В России националистический угар, если не принимать в расчет несколько слабых проявлений в первые месяцы войны, не привился. Он коснулся лишь образованной части общества и мало затронул социальные низы. В противоположность этому подавляющее большинство населения важнейших стран Запада, втянутых в войну, восприняло ее как народную. Рабочий класс не составил при

этом исключения. Большевики не поняли, да и не могли понять, что поддержка военных кредитов западноевропейскими социал-демократическими партиями объясняется тем, что вожди социал-демократии находились под сильным давлением массы членов партии и должны были опасаться массового выхода из партии этих слоев. В некоторых западных странах опыт войны создал предпосылки для успеха правоэкстремистских массовых движений, стремившихся к такому же сплочению нации и максимальному развитию национальных сил, как во время войны. Большевикам такое восхваление войны было чуждо. Мировую войну они лишь приветствовали как средство для ускорения мировой революции. Эту неспособность большевиков понять популярность войны на Западе ни в коем случае нельзя сводить к тому, что они были принципиальными антимилитаристами. Напротив, они были не менее воинственны, чем итальянские фашисты или немецкие национал-социалисты. Однако здесь речь идет о воинственности совсем иного рода. Это была воинственность добровольной революционной красной гвардии, или Красной Армии, созданной в годы гражданской войны. Красная Армия была полностью подчинена политическому руководству и применялась в конечном счете как инструмент партии, а любая попытка военных при большевистском режиме добиться хоть какой-то самостоятельности душилась в зародыше партийным руководством. Старая русская армия с ее традиционной структурой была сначала сознательно дезорганизована большевиками, а затем распущена.

Фигура современного ландскнехта, не сформировавшаяся в России, на Западе образовала ядро правоэкстремистских массовых движений и не в последнюю очередь способствовала их успеху. В своей книге «Консервативная революция» Армин Молер утверждает, что сформировавшийся в добровольческих корпусах новый революционный, антибуржуазный тип оказался преобладающим как в правых, так и в левых боевых отрядах Веймарской республики. С этим утверждением можно согласиться лишь частично. На самом деле правые экстремисты смогли использовать опыт войны намного лучше, чем большевики. На это обстоятельство жаловались многие марксистские идеологи, например, Тольятти, Радек и Таска. Коммунистические и социалистические партии Запады, клеймившие авантюризм и восхваление войны, ведущейся вопреки классовым интересам, ради войны самой по себе, как правило, отвергались «современными ландскнехтами». Несмотря на отчаянные попытки коммунистов перетянуть на свою сторону ветеранов войны, последние были все-таки интегрированы по преимуществу антимарксистскими, правоэкстремистскими организациями. По этой причине коммунистические и социалистические организации и их военные отряды имели мало шансов при непосредственных столкновениях с обученными и дисциплинированными воинскими частями правых экстремистов. Таска дает впечатляющее описание того, как сильно военный опыт итальянских фашистов помог им в борьбе с рабочими организациями. «Фашисты почти сплошь являются, — пишет Таска, — прежними фронтовиками, во главе их отрядов стоят офицеры; их бросают в дело сегодня здесь, завтра там, как на фронте, и они привыкли бы-

стро ориентироваться в обстановке... /Акции фашистов/ представляют собой использование военного опыта в условиях гражданской войны... В противоположность этому максималистский итальянский социализм был максимализмом хаотических, аморфных масс, лишенных духовного единства и общей перспективы».

### Изоляция противника

Если политическая группировка после многолетней безуспешной борьбы добивается удивительного прорыва, то она подвергается опасности придавать универсальное значение той тактике, которая обеспечила ей этот успех. Большевикам тоже не удалось избежать этой опасности. За восемь месяцев, после начала февральской революции 1917 г., большевистская партия пережила беспрецедентный взлет от сравнительно маловлиятельной осколочной группы до партии почти безраздельно, а начиная с марта 1918 г. полностью господствовавшей в огромной империи.

В этот период большевики блестяще показали, как можно использовать слабости и свободы демократии в целях ее устранения. После свержения самодержавия Россия пережила процесс радикализации и углубления революции. Этот процесс наверняка продолжался бы и без участия большевиков. Многие политические мыслители, начиная с де Местра, высказали наблюдение, что каждая большая революция с необходимостью подвержена процессу радикализации. Однако в 1917 г. большевики были единственной значительной политической силой в России, которая вовсе не проявляла беспокойства по поводу процесса радикализации масс. Наоборот, они приложили все усилия, чтобы встать во главе этого процесса. По этой причине большевики становились символом и воплощением революции для все более широких масс населения.

Федор Степун писал в своих воспоминаниях: Ленин был единственным русским политиком, который не боялся никаких последствий революции. Единственное, чего он требовал от революции, было ее дальнейшее углубление. И эта открытость Ленина навстречу всем штормам революции соединилась, по мнению Ф. Степуна, с темными, инстинктивными чаяниями русских масс. Постепенно большевикам удалось внушить большей части русского населения, что борьба против большевизма практически означает борьбу против революции. К этой точке зрения большевиков присоединились не только народные массы, но даже и небольшевистские социалистические партии России. Представители этих партий уверяли, что революция не имеет врагов слева, и поэтому борьба против большевиков в результате служит интересам контрреволюции. Эти партии практически парализовали сами себя данным тезисом и мало что смогли предпринять против большевиков. Право действовать почти полностью было предоставлено большевистской партии. В последние месяцы накануне Октябрьской революции



большевики оказались единственной сознательной политической силой, целеустремленно стремящейся к власти. Их противники наблюдали в полном бездействии, как большевики в победоносном наступлении захватывают одну позицию за другой. Противник большевиков — Временное правительство — после восьми месяцев большевистской деятельности оказался до такой степени в изоляции, что свержение этого правительства в октябре 1917 г. произошло почти бескровно.

После Октябрьской революции тактика большевиков в 1917 г. была поднята до уровня обязательного образца для всех не-русских партий. При этом не учитывались следующие различия между Россией и Западом: чрезвычайно сильное потрясение, пережитое как русским государством, так и русским обществом после февральской революции, позволило большевикам остаться бескомпромиссными и в одиночку идти к власти: в западных странах, напротив, положение после войны было в принципе другим. Государственный аппарат даже в тех странах, где послевоенный кризис был особенно глубоким (например, в Германии), никогда не терял контроль над событиями в такой степени, как в России. Политические противники западных коммунистических партий были намного более сплоченными и решительными, чем противники большевиков в России. Вследствие этого западные коммунисты не могли позволить себе борьбу на два фронта в стиле большевиков — как против государственного аппарата, так и против других политических партий. Русско-немецкий социал-демократ Александр Шифрин так комментировал попытки западных коммунистов подражать тактике большевиков в октябре 1917 г.: «В России вооруженное меньшинство добилось победы над беззащитным государством, в Европе беззащитное коммунистическое меньшинство противостоит вооруженному до зубов буржуазному государству». Коммунистам потребовались долгие годы, чтобы хоть немного освободиться от упоения собственным успехом в 1917 г. и понять, что использование русской тактики в других странах, прежде всего западных, было ошибкой. Успехи правых экстремистов, которым тактические ошибки коммунистов существенно пошли на пользу, способствовали процессу отрезвления в рядах коммунистов.

Итальянские фашисты и немецкие национал-социалисты сперва попытались без каких бы то ни было изменений перенять многие элементы большевистской тактики. Они, к примеру, хотели переплюнуть социалистов и коммунистов в радикальном разрыве с государством и с правящими слоями. Но неудачи, которые их при этом постигли, привели к тому, что они постепенно освободились от некритического подражания большевистской тактике. Однако самый важный элемент этой тактики они сохранили. Речь идет об использовании страхов умеренных сил в стране для укрепления собственной позиции и для максимальной изоляции противника. В точности как большевики использовали преувеличенный страх русских демократических партий в отношении «правого», «контрреволюционного» государственного переворота, так и правые экстремисты использовали в собственных интересах чрезмерные страхи консервативных слоев перед со-

циалистической революцией. Подражание бескомпромиссной тактике большевиков в 1917 г. со стороны итальянских и немецких коммунистов (1921 — 1922 гг. и 1929—1933 гг.) чрезвычайно облегчило правым экстремистам их намерение изолировать коммунистов. Борьба против воображаемой «правой» опасности привела к недооценке большевистской угрозы в России. В Италии и в Германии консервативные слои со своей стороны были до такой степени увлечены защитными мерами против социалистической революций (едва ли возможной на самом деле), что они, как правило, не воспринимали куда более актуальную опасность фашистской и национал-социалистической диктатуры.

### Теории заговора.

В своей все упрощающей идеологии Гитлер отождествляет как западных «плутократов», так и большевиков с орудиями «мирового еврейства». Большевики считали эту теорию настолько бредовой, что серьезная полемика с ней казалась им излишней. При этом они не замечали, что гитлеровская теория о «всесильном мировом еврействе» имеет определенное сходство с коммунистической теорией о «всемогущем финансовом капитале». Коммунисты считали так называемый «финансовый капитал» единственным режиссером политического развития внутри капиталистического мира в эпоху «империализма». Согласно представлениям коммунистов, «финансовый капитал» в своих засекреченных центрах, недоступных для глаз общественности, разрабатывал планы, обеспечивающие ему мировое господство и победу над единственным настоящим противником — коммунизмом. Неустанно занимались разоблачением секретных планов незримого врага, коммунисты зачастую теряли из виду вполне зримого и потому куда более опасного противника. Носители теорий заговора считают себя единственными реалистами, ибо только они знают подлинную причину всех политических событий в мире. Анализ политических процессов без учета их теорий они считают наивным, полагая, что такой анализ обнаруживает лишь марионеток тайных сил, действующих в собственных интересах. Аргументы и факты не в состоянии вывести из строя теорию заговора, она обладает внутренней логикой, а чрезвычайная убежденность ее сторонников способна вывести из равновесия и привести в смятение любых ее противников. Время от времени адептам этой теории удается поднять выстроенную ими систему аргументов до уровня основы, на которой ведется политическая полемика целой эпохи. Тенденция к подобной оценке власти «финансового капитала» была присуща Коминтерну уже в период с 1921 по 1928 гг., правоэкстремистские массовые движения часто характеризовались как простой инструмент «монополистического капитала», но в целом преобладало реалистическое признание собственной внутренней динамики этих движений. Победа Сталина в руководстве большевистской партии и Коминтерна выразилась также и в том, что тезис о власти «финансового капитала» превратился в разновид-

ность теории заговора. Так, к примеру, немецкий коммунист Иозеф Ленц называет фашистскую диктатуру «одной из форм диктатуры финансового капитала, которая... соответствует потребностям финансового капитала в исключительном овладении государством и экономикой... во времена больших социальных кризисов...» Для другого коммунистического идеолога, Мартынова, «монополистическая бржуазия... несомненно являлась основным режиссером» всех процессов, происходящих в капиталистических странах.

Многие исследователи убеждены, что в личности Сталина присутствовали параноидальные черты. Возможно, особая склонность Сталина к развитию теорий заговора, по крайней мере отчасти, объясняется своего рода манией преследования. Сходные выводы историки и психологи делали и в отношении теорий заговора Гитлера. Заслуживает внимания и другая параллель между этими двумя личностями, на которую указывает Роберт Такер: и у Сталина, и у Гитлера параноидальные черты были связаны с беспрецедентными политическими способностями. Конрад Хейден сказал о Гитлере, что тот знал своих противников лучше, чем они сами знали себя, ибо он за ними внимательно наблюдал, а использование чужих слабостей было его жизненной стихией. Эти слова Хейдена можно употребить и по отношению к Сталину. Как Сталин, так и Гитлер знали, какие границы их политические противники не в состоянии переступить, и бесстыдно злоупотребляли моральными табу своих оппонентов. Оба они далеко превосходили своих оппонентов в искусстве подтасовок и в способности создавать двусмысленные ситуации с целью поставить противника в противоречие с самим собой. Зигмунд Нойман считает самым действенным тайным оружием тоталитарных властителей их способность создавать амбивалентные и двусмысленные ситуации, выбивающие противника из колеи. Обостренному видению слабостей своего противника, присущему как Сталину, так и Гитлеру, соответствовала их чрезвычайная слепота по отношению к собственной патологии и мнительности.

Теории заговора, придававшие разрушительный характер и сталинской, и гитлеровской политике, можно привести как наиболее яркий пример патологического мировоззрения обоих диктаторов. Склонность Сталина к теории заговора оказала крайне отрицательное воздействие на познавательную ценность коминтерновской теории фашизма. Политическая действительность в коминтерновских дискуссиях о фашизме 1929—1933 гг. была искажена до такой степени, что даже после тактического поворота в политике в 1934 г. его теоретикам за редкими исключениями не удавалось вновь достичь наглядности и той близости к реальности, которые были характерны для их дискуссий в период с 1921 по 1928 годы.

## Недооценка европейского пессимизма

Европейский пессимизм, выразившийся в вере в «закат Европы», превратился после первой мировой войны в чрезвычайно распространенное явление. В нем коренится одна из причин большой популярности правозэкстремистских массовых движений, которые со сверхчеловеческим напряжением воли пытались предотвратить этот «закат». Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь буржуазии. Эти предчувствия гибели, по их мнению, были подтверждением коммунистических предсказаний близкого краха капиталистической системы. Троцкий утверждал в декабре 1922 г., что модная на Западе философия Освальда Шпенглера — верное классовое предчувствие буржуазии, не замечающей, однако, пролетариата, который должен ее заменить. Карл Радек также считал европейский пессимизм чисто буржуазным феноменом. Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции. Маркс развивал свои идеи в то время, когда в Европе преобладал позитивистский оптимизм и вера в прогресс. Когда на рубеже веков по всей Европе распространились пессимистические настроения, марксизм давно уже был законченной системой, на которую не могли повлиять более поздние идейные течения. Глубокая научная революция начала XX в. привела к пересмотру позитивистской веры в незыблемость материального мира и законов природы, однако она никак не затронула марксизм.

Новые идеи не оказали влияния на марксизм как систему, однако многие марксисты испытали на себе их сильное воздействие. Позволив себе увлечься теориями Ницше, Бергсона, Эйнштейна, Достоевского, Соловьева, они, после безуспешных попыток соединить идеи этих мыслителей с марксистской идеологией, вынуждены были дистанцироваться от марксизма. Так, Муссолини гордился тем, что он, будучи социалистом, никогда не был позитивистом и считал своей большой заслугой, что ему удалось «заразить итальянское рабочее движение учением Бергсона, примешав к нему много Бланки». Эволюцию противоположного характера пережила группа бывших русских марксистов: Семен Франк, Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Петр Струве и другие. Не благоговение перед насилием, а христианство стало ядром их философских систем после того, как они порвали с марксизмом.

На Ленина мировоззренческие сомнения многих марксистов начала века не оказали никакого воздействия, и он беспощадно боролся с этими сомнениями внутри большевистской партии. Федор Степун пишет, что Ленин был очень консервативен в вопросах культуры, и утверждает далее: но будь Ленин революционером в сфере духа, он, скорее всего, был бы неспособен осуществить свою политическую революцию. Это отношение Ленина к новым духовным течениям эпо-

хи унаследовали большевики. Марксистско-ленинское наследие чрезвычайно затруднило теоретикам Коминтерна анализ причин европейского пессимизма, на котором лежит доля вины за успехи правого экстремизма.

Другие причины ошибочной оценки большевистской идеологией европейского пессимизма коренятся в специфике русского исторического развития. К началу XX в. Россия была промышленно неразвитой полуаграрной страной, нуждавшейся в технологическом прогрессе. На Западе, наоборот, урбанизация и индустриализация достигли такого уровня, что там начали появляться сомнения в положительном содержании этого процесса. Сущность западного кризиса модернизации для большевиков осталась непостижимой. Любую критику научно-рационального и материалистического мировоззрения большевики считали пережитком мрачных суеверных эпох, давно преодоленных современной цивилизацией. Свою веру в науку они полагали последним словом европейской культуры. Такое некритическое преклонение перед наукой Антонио Грамши комментировал следующим образом: «Научный прогресс породил веру в нового мессию, который сможет создать земной рай ... Так как от науки ожидают слишком многого, то ее понимают как колдовство высокого порядка». Атеистическая и материалистическая пропаганда большевиков, связанная с преследованием православной церкви, достигла среди широких масс русского населения заметных успехов. Популяризация «чудес» науки и техники была призвана заменить веру в религиозные чудеса. Вера в науку и на самом деле приобрела в большевистской России почти религиозный характер. В 1930 г. Федотов писал, что Россия переживает период наивного просвещения. Материализм приобрел характер новой веры.

На Западе в те же годы господствующей стала иная точка зрения — веру в науку считали пережитком. Великие технические достижения Советского Союза мало импонировали Западу, так как там, как справедливо говорит Конрад Хейден, подобные успехи были достигнуты давным-давно. Разрушения первой мировой войны, масштаб которых отчасти был обусловлен научно-технологическими достижениями последних десятилетий, открыл глаза многим европейцам на негативные аспекты технического прогресса. В этой войне с особой силой проявились иррациональные черты человеческой природы и это никак не укрепило большевистский тезис о рациональном планировании процесса общественного развития. После мировой войны массы должны были бы понять, что в обществе царят слепые и иррациональные силы, по отношению к которым человек беспомощен, — писал Питер Друкер. Итальянские фашисты и немецкие национал-социалисты, которые восхищались иррациональным в человеке и объявили борьбу просветительско-позитивистской традиции, сумели лучше коммунистов использовать европейский кризис, возникший после окончания первой мировой войны. Но все же правэкстремистские течения сами были лишь симптомом этого кризиса, и все их попытки найти выход с помощью волюнтаристских методов только еще больше его углубляли. Одним только насилием и активностью невозможно было возродить европейское государство, — пишет Герман Геллер в своей книге



«Европа и фашизм». Фашизм смог лишь противопоставить безвольной норме, лишенную всякой нормы волю.

## Различия между фашизмом и национал-социализмом

Анализ итальянского фашизма, сделанный теоретиками Коминтерна в 1921—1928 гг., был в тот период одной из самых интересных интерпретаций этого нового феномена. В то же время в анализе немецкого национал-социализма никогда не были достигнуты подобные результаты. Даже Троцкий, который в 30-е годы изучал национал-социализм независимо от подчинившегося Сталину Коминтерна, не заметил многие специфические особенности, принципиально отличавшие нацизм от итальянского фашизма. Ошибочная оценка национал-социализма большевиками не может быть сведена только лишь к влиянию Сталина на дискуссии о фашизме в рамках Коминтерна. Были и другие причины, с одной стороны, облегчавшие большевикам понимание итальянского фашизма, с другой — затруднявшие проникновение в своеобразие национал-социализма. Несмотря на все различия итальянский фашизм как политическое явление был гораздо ближе большевизму, чем национал-социализм. Благодаря своему марксистскому прошлому Муссолини был для большевиков ближе и понятнее, чем Гитлер. Перед началом первой мировой войны как Ленин, так и Муссолини принадлежали к радикальному крылу марксистского движения. Оба были нетерпеливыми революционерами, оба старались ускорить революционный процесс усилиями малочисленной элиты профессиональных революционеров. Из-за своего волюнтаризма Муссолини постепенно оказался вне рамок марксизма, Ленин же, наоборот, несмотря на свою радикально-волюнтаристскую ревизию марксизма, остался ортодоксальным марксистом. Уже упомянутое отсутствие интереса к новым идейным течениям в Европе и концентрация главным образом на тактических проблемах революционного захвата власти облегчили Ленину возможность остаться ортодоксальным марксистом; по крайней мере сам он верил, что является таковым. Муссолини, став фашистом, не сжег мосты к своему марксистскому прошлому. В парламентской речи от 1 декабря 1921 г. он даже говорил о духовном родстве между фашистами и коммунистами. Он не исключал возможного сотрудничества между обеими партиями в борьбе с существующим в Италии правительством. Невозможно представить, чтобы Гитлер выступил с такими примирительными заявлениями по отношению к марксистам. Тот факт, что национал-социализм, в отличие от итальянского фашизма, возник не в рамках социалистического рабочего движения, Александр Шифрин считает решающим для фундаментальных отличий между обеими правозэкстремистскими группировками. В феврале 1931 г. Шифрин писал: «Развитие итальянского фашизма заключалось в контрреволюционизации демократического по своему происхождению движения; это означало его глубокое внутреннее перерождение. Новейшее развитие национал-социа-

лизма проходит под знаком демократизации этого штурмового отряда контрреволюции в смысле расширения его социальной базы; для этого он нуждается лишь в некотором изменении методов. Его фундаментальное политическое и идеологическое содержание остается неизменным».

Круг идей, из которого вышла идеология национал-социализма, был гораздо менее близок большевикам, чем идеологическая база итальянского фашизма. По этой причине большевикам было нелегко правильно оценить опасность национал-социализма, намного превосходившую опасность итальянского фашизма. Помимо уже неоднократно упоминавшегося страха перед декадансом, коммунисты не сумели правильно оценить и другой, чрезвычайно важный компонент национал-социалистического мировоззрения — антисемитизм. Большевики понимали опасность антисемитизма, им приходилось довольно часто, как до революции, так и после нее, подвергать острой критике антиеврейские выпады и предрассудки. Однако опыт, накопленный большевиками в отношении русского антисемитизма, не мог способствовать пониманию ими сущности национал-социалистической идеологии. Еврейские погромы в дореволюционной России и дискриминационные меры царского правительства в отношении евреев не давали никаких критериев для оценки антисемитизма, характерного для НСДАП и национал-социалистического государства. Антисемитизм был приоритетной и неотъемлемой частью национал-социалистической доктрины, в то время как в царской России он не играл столь центральной роли. Большевики полагали, что антиеврейская пропаганда или антиеврейские выпады, например, погромы в дореволюционной России в конечном счете служат для отвлечения масс от других, гораздо более значительных социальных проблем. Большевицкие идеологи скептически относились к словам Гитлера о том, что он видит свою важнейшую миссию в борьбе с мировым еврейством. В апреле 1933 г. один коммунистический автор писал в газете «Рундшау»: «...вся эта болтовня об этническом обновлении» Германии и об ее «очищении от еврейских элементов» никем не принимается всерьез, если не считать маленький слой сумасшедших школьных учителей и фанатиков расистов...» Так коммунисты проглядели самый значительный идеологический компонент национал-социализма, придавший ему беспрецедентную динамику.

Основным мотивом действий национал-социалистических вождей большевики считали защиту капиталистического строя, реально оказавшегося под угрозой, а не борьбу с воображаемой, несуществующей в действительности еврейской опасностью. Большевики проявили здесь непонимание той силы, которой могут обладать в истории фикции и патологические извращения реального положения вещей. От внимания коммунистов ускользнул и тот факт, что они в лице национал-социалистов, и прежде всего в их вожде, приобрели противников, которые, в отличие от итальянских фашистов, были намерены буквально осуществить то, что они обещали. Присущая Муссолини воля к власти и преклонение перед насилием были зачастую чистой риторикой. В действительности он был готов к ком-

промиссам, слепой фанатизм Гитлера был ему чужд. Несмотря на свою манию величия, итальянский фашизм не начал мировую революцию, писал Зигмунд Нойман. Это сделал только национал-социализм.

Недооценка оригинальности, равно как и радикальности национал-социалистического мировоззрения затруднила коммунистам понимание существенных различий между итальянским фашизмом и национал-социализмом. Уже в 1922 г. теоретики Коминтерна характеризовали итальянскую фашистскую партию как «буржуазную партию нового типа», которая существенно отличается от других, уже существующих «буржуазных партий». Гораздо труднее далось им понимание того, что НСДАП развивалась как «фашистская партия нового типа», которая отличалась от итальянского фашизма не менее радикально, чем последний, со своей стороны, отличался от традиционных буржуазных партий.

Государство — партия — вождь в правозэкстремистских режимах и в большевистской России

Государственный и военный аппарат большевиков с момента возникновения советского государства находился под контролем партийной олигархии. Процесс принятия решений протекал исключительно в рамках партийного руководства, и большевистская партия осталась единственным учреждением Советской России, обладавшим всеми качествами самостоятельного общественного института с собственной динамикой и внутренними закономерностями. В своей книге «Происхождение партократии» Авторханов пишет, что большевистская партия является не просто единственной правящей партией, и не государством в государстве, а сама по себе представляет государство — «государство нового типа». Вполне вероятно, что коммунистическое государство могло бы функционировать без своего официального государственного аппарата, но существовать без своего партийного аппарата оно не может. Столь однозначное распределение власти не было присуще фашистским и национал-социалистическим странам. Это обстоятельство не было в достаточной мере осознано многими теоретиками Коминтерна. В своем анализе процессов принятия политических решений в рамках правозэкстремистских режимов они часто говорили о слиянии руководства правозэкстремистских партий и традиционного государственного аппарата. Тем самым они переносили советскую модель, в которой лишь одна политическая сила определяла процесс принятия решений, на правозэкстремистские режимы. Сложность взаимоотношений между партией и государством в фашистской Италии и в национал-социалистической Германии не изучалась подробно руководством Коминтерна. Концепция «двойного государства», развития Эрнстом Френкелем, до последнего времени не находила отклика у коммунистов, изучающих фашизм. Многие теоретики Коминтерна оставили без внимания долго сохранявшуюся напряженность между партией и государственным аппаратом в Италии и Германии.

Недостаточно учитывалась теоретиками Коминтерна и роль вождя, который в правоэкстремистских партиях имел совсем иное значение, чем в большевистской партии. Конкуренция между госаппаратом и партией, как известно, придавала вождю правоэкстремистских движений роль третейского судьи. Правоэкстремистский волюнтаристский режим и нормативное правовое государство существовали параллельно. Примирение между этими двумя противоположными системами не могло установиться стихийно, они не могли сотрудничать друг с другом, так как каждая из этих систем отрицала другую. Этим и объясняется необычно важная роль вождя, в котором оба противостоящих друг другу аппарата видели прежде всего посредника, ему отдавали часть своей самостоятельности и партия, и государственный аппарат.

В истории большевизма, равно как и в истории России, цезаристская идея не играла сколько-нибудь заметной роли. Большевистская партия, в противоположность правоэкстремистским партиям, ни до, ни после захвата власти не являлась партией вождя. Партийная дисциплина и беспрекословное повиновение ни в каком случае не были идентичны. Многие важные решения принимались после жарких дискуссий внутри партийного руководства. В 1936 г. Троцкий писал, что вся история большевистской партии — это история фракционной борьбы. Руководящий слой большевиков был своего рода олигархией, которая требовала от партийных масс дисциплины и повиновения, но за собой оставляла право на критику. Превратить эту партийную элиту в послушный инструмент вождя оказалось нелегким делом. В отличие от Гитлера и Муссолини, Сталин для утверждения принципа вождизма в собственной партии должен был физически уничтожить большую часть партийного руководства. Сопrotивление партийной элиты против неограниченной личной диктатуры, которую Сталин хотел установить после разгрома «правой» оппозиции в 1929 г., было чрезвычайно велико. В период с 1930 по 1933 г. Сталин столкнулся с целым рядом группировок внутри партии, которые планировали его свержение с целью спасти самостоятельность партии. Авторханов писал, что в 1930—1933 гг. партия находилась при смерти, но это не была естественная смерть. Партия непрерывно оказывала сопротивление. Едва Сталин успевал устранить одну оппозицию, как тут же возникала следующая.

Большевики, боровшиеся против установления неограниченной личной власти Сталина в партии, были последними представителями нонконформистской, антиавторитарной традиции русской интеллигенции. Поэтому для них любая насильственная власть, выступавшая под лозунгом неприкосновенности собственного авторитета, была неприемлема. В 1936 г. Бухарин говорил: Сталин понял, что старые большевики никогда не смирятся с его диктатурой. Они выросли в атмосфере борьбы и сопротивления, они были насквозь пронизаны духом нонконформизма и критики. Сталин считал эти качества деструктивными. Поэтому он принял смелое решение: если старое поколение большевиков, из которого рекрутировалась советская правящая элита, не пригодно для «конструктивной» работы, оно должно быть устранено и заменено новой элитой. Для того, чтобы пре-

творить в жизнь свои воззрения, Сталин, вынужден был опираться на новое поколение членов партии, которое имело мало точек соприкосновения с традициями революционной русской интеллигенции. Об этом справедливо писал Бухарин. Новое поколение большевиков рекрутировалось из слоев, не имевших сколько-нибудь значительного политического опыта, им была чужда критическая позиция и недоверие старых большевиков по отношению к любой единоличной власти. Когда Сталин натравливал большевистских функционеров среднего звена на космополитически и всесторонне образованных старых большевиков, он брал на вооружение идеал равенства, популярный в русской традиции. «Мы не хотим иметь в партии дворян»,— провозгласил Сталин, и этот призыв встретил заметный отклик в партийных массах. Уничтожение независимости партии явилось следствием этого восстания партийных масс против элиты. Такого рода восстание могло пойти на пользу лишь деспоту. Свою диктатуру Сталин мог установить только с помощью группировок, не подготовленных к политическому мышлению и к политической ответственности.

В Италии и Германии при установлении фашистской и национал-социалистической диктатуры были в наличии совершенно другие внешние условия. Те группировки которые отказались от собственной ответственности в пользу диктаторской власти, были далеко не столь неопытны в политическом отношении, как большевистские партийные массы, проложившие путь диктатуре Сталина. В Италии и Германии речь шла скорее об усталости определенных политических группировок и политических партий, которые слишком долго несли на себе политическую ответственность. Она им, можно сказать, просто надоела. Принципиально разные предпосылки для возникновения однопартийной диктатуры и тоталитарной системы в России, в Италии и Германии остались вне поля зрения многих представителей теории тоталитаризма. Эти исследователи говорят о сущностном единстве большевистской, сталинистской диктатуры с фашистским и национал-социалистическим режимом, не отдавая себе в достаточной степени отчета в том, что в основе тоталитарной системы на Западе лежал кризис парламентской демократии, а в России — недостаток демократического опыта. Различия в происхождении тоталитаризма в России и на Западе определили и различия в характере тоталитарных системы их зрелой стадии. Большинство старых большевиков, которые долгие годы боролись против личной диктатуры Сталина в партии, не способны были понять движущие причины итальянских и немецких политических группировок, мечтавших о «цезаре» и стремившихся добровольно подчиниться принципу вождизма. То есть, они не могли понять суть той силы, которая толкала сторонников Муссолини и Гитлера к безоговорочному подчинению и которая парализовала сопротивление противников обоих диктаторов. Для этих большевистских теоретиков Муссолини и Гитлер были полубразованными «мелкобуржуазными мятежниками», а не «цезарями». И все-таки миллионы итальянцев и немцев из всех социальных слоев искренне верили в цезаристскую миссию Муссолини и Гитлера. Эта вера, непонятная для многих теоретиков Ко-



минтерна, стала одним из важнейших оснований, на котором утверждалась власть обоих диктаторов Алан Дж. Тэйлор сказал по этому поводу: «Муссолини и Гитлер верили только в самих себя. Они были восхищены самими собой. Люди, которые поверили в них как в сверх людей, тем самым их заслужили».

## Заключение

При сравнительном анализе развития России и Западной Европы в начале XX в. бросается в глаза тот факт, что обе эти части континента жили тогда в разных эпохах. Коммунистические теоретики не смогли должным образом учесть эту одновременность, что оказало влияние на их полемику с правым экстремизмом. Некоторые процессы наступили на Западе намного раньше, чем в России, например, кризис модернизации. К началу XX в. в России были почти неизвестны проблемы, порожденные быстрым отрывом от корней больших масс населения, и поэтому большевики были не в состоянии понять правоэкстремистское преклонение перед собственным прошлым. Целью большевиков был как можно более радикальный разрыв с русской традицией, в котором они видели главным образом угнетение и отсталость. Большевистские идеологи были глубоко убеждены в том, что индустриализация и модернизация отвечают интересам непривилегированных масс; протест европейских масс против этих процессов истолковывался в Москве как знак отсталости и неудовлетворительной просветительской работы. И лишь после великих потрясений индустриализации и коллективизации Россия постепенно стала сталкиваться с проблемами, которые волновали западные общества уже на рубеже веков и создали питательную почву для прихода к власти правых экстремистов. Ностальгическое восхваление русской традиции и тоска по потерянному корням охватывали все более широкие слои русского населения. Однако ответ на весьма интересный вопрос о последствиях кризиса модернизации для сегодняшней России выходит за рамки данной работы.

Наряду с таким явлением, как кризис модернизации, возникшим в России с опозданием, были и другие, которые Россия предвосхитила и которые позже приобрели важное значение также и для Запада. Так, например, Россия с удивительной наглядностью, как никакая другая страна, продемонстрировала последствия такого явления, как радикальнейшая конфронтация, интеллектуальной элиты страны с существующей системой (самодержавием), — этот процесс шел рука об руку с преклонением перед идеалом всеобщего равенства. Синтез хилиастических планов русской интеллигенции с целями марксизма привел к возникновению большевистской партии профессиональных революционеров, у которой на Западе не было аналога. Создание Лениным этой партии для мировой истории имело не меньшее значение, чем наметившийся к этому же времени на Западе кризис модернизации. После 1917 г. большевики попытались завоевать мир и для идеала русской интеллигенции — всеобщего равенства, и для марксистского

идеала— пролетарской революции. Однако оба эти идеала не нашли в «капиталистической Европе» межвоенного периода того отклика, на который рассчитывали коммунисты. Европейские массы, прежде всего в Италии и Германии, оказались втянутыми в движения противоположного характера, рассматривавшие идеал равенства как знак декаданса и утверждавшие непреодолимость неравенства рас и наций. Восхваление неравенства и иерархического принципа правыми экстремистами было связано, прежде всего у национал-социалистов, с разрушительным стремлением к порабощению или уничтожению тех людей и наций, которые находились на более низких ступенях выстроенной ими иерархии. Вытекавшая отсюда политика уничтожения, проводившаяся правыми экстремистами, и в первую очередь национал-социалистами, довела до абсурда как идею национального эгоизма, так и иерархический принцип. По крайней мере в Центральной и Западной Европе эти идеалы были дискредитированы. Большинство теоретиков Коминтерна считали отказ от идеала равенства и от идеи пролетарской революции со стороны низших слоев европейского общества — в период между двумя мировыми войнами — проявлением «ложного сознания». Специфический характер исторического развития Западной Европы, лежавший в основе такого поведения масс, не учитывался в достаточной мере идеологами Коминтерна. Однако, как уже неоднократно указывалось в этом исследовании, в коминтерновской теории фашизма удивительным образом сочетались ошибочные интерпретации феномена фашизма с самыми точными наблюдениями и выводами. Как эксперты революционной техники и идеологического влияния на массы большевики оказались в числе первых, кто осознал, сколь многому правые экстремисты научились на опыте их собственной революции. После установления однопартийной фашистской диктатуры в Италии теоретики Коминтерна выступили с оригинальными аналитическими статьями о существенных особенностях фашистского режима. Их глубокое проникновение в суть дела наверняка объяснялось тем, что большевики из опыта 20-х годов знали возможности и пределы однопартийной диктатуры.

Период между 1929 и 1933 гг. можно назвать самой непродуктивной фазой в развитии дискуссии о фашизме внутри Коминтерна. В эти годы сталинистский образ мысли утвердился как в большевистской партии, так и внутри Коминтерна. Его символом были презрение и недоверие по отношению к любой спонтанности в мышлении и в поведении, стремление к тотальному контролю над политическими и духовными процессами и создание «монолитного» мирового коммунистического движения, в котором был недопустим какой бы то ни было тактический или идеологический плюрализм. Эти сталинистские принципы явились причиной роковых ошибок в политике Коминтерна по отношению к национал-социализму в 1929—1933 гг. Пожалуй, наиболее чреватые последствиями было схематическое обобщение понятия «фашизм» и распространение его на всех противников коммунистов. Этим необдуманном употреблением понятия «фашизм» коммунисты нанесли урон прежде всего самим себе, ибо тем самым придали без-

обидность своему наиболее опасному врагу, по отношению к которому использовалось первоначально это понятие.

С точки зрения коммунистической теории, «капиталистическая система» являлась своего рода «ретортой» фашизма. С помощью этого тезиса коммунистические идеологи попытались освободить себя от всякой ответственности за возникновение фашистских движений и режимов. Любую попытку истолковать большевистскую революцию (наряду с мировой войной) как первое звено в неразрывной цепи насилия, которая наряду с другими причинами способствовала появлению фашизма, большевики с возмущением отвергали. Для них фашизм был исключительно внутренним проявлением капиталистической системы. Подобная односторонность характерна и для некоторых консервативных и либеральных мыслителей, которые со своей стороны отрицают ответственность демократических и консервативных группировок за подъем фашизма. Они характеризуют коммунизм и фашизм как восстание масс против традиционного европейского порядка и культуры. Но этот тезис проходит мимо того факта, что именно представители культурной элиты в Европе, а не массы, первыми поставили под сомнение фундаментальные ценности европейской культуры. Не восстание масс, а мятеж интеллектуальной элиты нанес самые тяжелые удары по европейскому гуманизму, писал в 1939 г. Георгий Федотов.

На самом деле ответственность за успехи правого экстремизма в межвоенный период несут все важнейшие политические силы тогдашнего европейского общества, хотя и в разной степени. Ответственность высших слоев за захват власти фашистами и национал-социалистами гораздо выше, чем ответственность рабочих партий, у которых не было возможности решать — отдавать власть или нет в руки правых экстремистов.

Коммунисты, объявившие войну «старому буржуазному миру», в период между двумя войнами, как правило, разделяли судьбу этого «старого» мира. Сначала в Италии, а потом в Германии они оказались разбитыми и преследуемыми, в одном лагере со всеми остальными политическими партиями. Эти поражения помогли коммунистам осознать, что пропасть между ними и «буржуазными» демократиями или социал-демократическими партиями была отнюдь не столь непроходимой, как они воображали. Одним из последствий этого процесса была готовность коммунистов войти в Народные фронты в разных европейских странах и заключить союзы с демократическими странами Запада.

Эта гибкая, открытая, готовая к компромиссам во внешней политике, концепция была разработана к середине 1934 г. и проводилась советским руководством с 1936 по 1938 г., т. е. одновременно с «Большим террором», который был организован террористическим сталинским аппаратом и принадлежит к одной из самых кровавых глав в истории России. В отличие от периода 1929—1933 гг. ко времени «Большого террора» Сталин уже умел резко отделять свою внешнеполитическую тактику от внутривнутриполитической. Это разделение вводило в заблуждение западных наблюдателей, которые отрицали террористический характер ста-

линской диктатуры даже и тогда, когда террор достиг своего апогея, все еще считали Сталина умеренным прагматиком. Сталин отошел от своего прозападного курса отнюдь не добровольно. Он сделал это только после мюнхенского соглашения, когда для него стало ясно, каких масштабов достигли на Западе пораженческие настроения по отношению к третьему рейху. Это разочарование побудило его к тому, чтобы вступить в конкуренцию с Западом в политике уступок Гитлеру. Западная политика умиротворения получила свой эквивалент на Востоке. С 1934 по 1938 г. на Западе верили, что на основе антикоммунизма можно установить определенную общность с третьим рейхом. В период с 1939 по 1941 г. Сталин в свою очередь видел общность с третьим рейхом в борьбе последнего против парламентаризма и «плутократии». На самом деле третий рейх находился в полном противоречии со всеми европейскими государствами и системами того времени и был запрограммирован на их тотальное подчинение или же уничтожение. Это намерение национал-социализма было настолько невероятным, что неоднократные заявления его вождей относительно собственных целей, как правило, воспринимались как пропагандистское преувеличение. И лишь со временем как в России, так и на Западе поняли, что одной из самых существенных черт национал-социализма было как раз единство слова и дела.

В 1936 г. Троцкий придерживался мнения, что коалиция Советского Союза с западными державами против третьего рейха невозможна. Он говорил о солидарности «империалистических» стран против Советского Союза и был убежден, что в случае нападения Гитлера на Советский Союз надежда на западную помощь будет напрасной. Но оказалось, что с 1941 по 1945 г. западные державы во все не вели себя в соответствии с предсказанной Троцким закономерностью. Тем самым был существенно поколеблен один из основных тезисов ортодоксального марксизма о конфликте между «буржуазным» и «пролетарско-марксистским» лагерем как главном конфликте современного мира. Правый экстремизм, и прежде всего национал-социализм, выступал носителем третьего принципа, находившегося в непримиримом противоречии не только со всеми течениями марксизма, но и с определенными силами внутри «буржуазного» лагеря. Понимание этого обстоятельства с трудом давалось коммунистическим исследователям фашизма.